

НАДЕЖДА СОКОЛОВА



ЯБЛОЧНЫЙ БИЗНЕС МАДАМ ПОПАДАНКИ

Надежда Соколова

**Яблочный бизнес
мадам попаданки**

«Автор»

2026

Соколова Н. И.

Яблочный бизнес мадам попаданки / Н. И. Соколова — «Автор»,
2026

Я - попаданка в магический мир, живу в полуразрушенной усадьбе вместе со слугами. И все, что у меня есть, - это яблочный сад перед домом, заросший и почти непригодный для восстановления. Почти, я сказала? Что ж, посмотрим, что тут можно сделать. Ведь я, попаданка, не привыкла сдаваться.

© Соколова Н. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	20
Глава 7	24
Глава 8	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Надежда Соколова

Яблочный бизнес мадам попаданки

Глава 1

Яблочный сад был запущенным. Сильно запущенным. Очень сильно запущенным. Деревья, росшие вперемешку, старые и молодые, давно не чувствовали на себе руки садовника. Кора на стволах растрескалась и покрылась серо-зелёными пятнами лишайника, как старческая кожа, а ветви, переплетённые в диком, хаотичном танце, тянулись во все стороны, цепляясь друг за друга сухими, обломанными пальцами. Подлесок буйствовал: крапива в мой рост, колючий боярышник, какая-то ползучая зараза с липкими стеблями — всё это сплеталось в непроходимые заросли, сквозь которые приходилось продираться, оставляя на руках красные полосы царапин. Яблоки на их ветвях, по словам моих двух служанок, были мелкими, частично — кислыми, с тёмными точками червоточин и какой-то горьковатой сухостью во вкусе, от которой сводило скулы. Будь моя воля, я никогда не стала бы вкладывать усилия, время и деньги в этот бизнес. Я вообще не понимала, зачем мне, Валентине Ольтовой, тридцати семи лет от роду, одинокой женщине без семьи и без наследников, этот забытый богами и людьми уголок. В моём прежнем мире я бы прошла мимо такого сада, поморщившись и ускорив шаг. Там, на Земле, я привыкла решать проблемы быстро: позвонить, нанять, заплатить, делегировать. Здесь же всё решалось иначе — руками, потом и бесконечным терпением, которого у меня никогда не было в избытке. Каждый выросший в землю корень, каждая сухая ветка, каждая горсть сорняков — всё это требовало меня, всю целиком, без остатка, и злило до зубного скрежета.

Но в том-то и проблема, что воли моей не было. Полуразрушенная усадьба стояла вдали от проезжих дорог, на холме, обдуваемая всеми ветрами. Её стены, сложенные из тёмного, неровного камня, местами осыпались, обнажая трухлявые балки, а окна с выбитыми стёклами зияли, как пустые глазницы, и по ночам в них гулял ветер, издавая тоскливый, протяжный вой. Сейчас на календаре был ортанс, местный апрель. Впереди — несколько месяцев на подготовку к зиме, а потом — снег и мороз. И выживай как хочешь. Не можешь? Значит, помрешь от холода и голода, и никто даже не вспомнит, как тебя звали. Я знала это слишком хорошо: за те несколько недель, что провела здесь, я успела выучить, как быстро местная весна сменяется ледяным дыханием севера — солнце ещё пригревало днём, а к вечеру воздух становился колким, как битое стекло, — как тонок лёд на лужах по утрам, хрустящий под ногами с предательским треском, и как гулко, до дрожи, завывает ветер в щелях старого дома, пробираясь под одеяло, под кожу, под самые рёбра. Мои длинные пальцы, привыкшие к клавиатуре и чашке кофе, уже покрылись мозолями от топорика и ведра — грубыми, жёлтыми, с сорванными в кровь местами, которые саднили при каждом прикосновении. Синие глаза, которые когда-то смотрели в монитор, теперь каждый день обшаривали горизонт в поисках дров, воды и хоть какой-то надежды — и находили только серую линию леса, свинцовое небо да бесконечные холмы, поросшие жухлой травой. Я чувствовала себя чужой в этом мире, в этой жизни — высокой, стройной шатенкой, застрявшей между прошлым, которое уже не вернуть, и будущим, которого может не быть. Иногда, стоя посреди этого хаоса, я ловила себя на мысли, что моё тело здесь — просто инструмент, нечто вроде лопаты или ведра, и это было почти невыносимо.

Так что все, что мне оставалось, — это приложить усилия для восстановления яблочного сада. Все равно ничего другого для выживания рядом не имелось. И я говорила себе: если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Каждое утро я выходила под серое небо, вдыхала сырой воздух, пахнувший прелой листвой и мокрой землёй, и заставляла себя смотреть на эти кривые,

неухоженные яблони не как на приговор, а как на единственный шанс. Может быть, впервые в жизни мне предстояло не убежать от одиночества, а встретиться с ним лицом к лицу — среди этих ветвей, под этими ветрами, в тишине, где никто не придёт на помощь. И когда я брала в руки секатор, и лезвие с хрустом врезалось в сухую древесину, я чувствовала, как что-то во мне самом — окостеневшее, затвердевшее за годы делегирования и бегства — тоже понемногу поддаётся, трескается и отступает.

Жизнь в усадьбе текла по раз и навсегда заведённому распорядку, и держался он не на приказах, а на упрямом, почти злом согласии всех пятерых — включая меня. Поднимались мы затемно, ещё до того, как серый сумрак за окнами начинал сереть по-настоящему, — в тот час, когда мир ещё не принадлежит никому, когда даже птицы молчат, и только где-то далеко, за холмами, глухо перекликаются ночные звери. Дом встречал утро скрипом половиц — каждая половица здесь знала свой собственный голос, и по этому скрипу я давно научилась угадывать, кто идёт: тяжёлая, уверенная поступь орчихи, лёгкая, почти неслышная — эльфийки, шаркающая — гномки. Пахло сыростью и дымом — печь топилась с вечера, чтобы к утру в комнатах было хоть немного тепла, но тепло это уходило сквозь щели в стенах и в разошедшиеся рамы, выстуживалось о каменные стены, и я давно перестала удивляться, просыпаясь с озябшими пальцами и инеем на подоконнике — тонким, игольчатым, тающим от одного прикосновения. Одеяло за ночь становилось холодным и влажным, как компресс; я сворачивалась под ним калачиком, подтягивала колени к груди и всё равно не могла согреться до самого рассвета.

Хозяйство наше было крошечным, но требовало рук всех до единого — и каждый час, каждая минута были здесь на счету, потому что день короток, а дел всегда больше, чем света. Гномка-экономка, приземистая, с широкими ладонями и вечно поджатыми губами, вела учёт всему — и учёт этот был беспощаден, как приговор. В кладовой стояли мешки с крупой, которые она пересчитывала каждую неделю, шевеля губами и загибая короткие пальцы; банки с соленьями — огурцы, капуста, какие-то местные корни, — выстроенные в ряд по размеру и по сроку; связки сушёных трав под потолком, пахнущие горько и пряно, от которых кружилась голова; горшочек мёда, который берегли пуще золота — его выдавали по чайной ложке, и эта ложка казалась мне тогда целым сокровищем. Посуда была разномастная, со сколами и трещинами: пара чугунов, тяжёлых, как совесть; сковорода с облупившимся дном; глиняные миски, хранившие запах прежних хозяев; деревянные ложки, отполированные до блеска тысячами прикосновений; один-единственный чайник, закопчённый, с помятым боком, который ставился на огонь только по особым случаям. Экономка знала цену каждой вещи и каждому грамму, и когда я как-то предложила выбросить треснувшую крышку, посмотрела на меня так, будто я предложила сжечь дом. Я тогда смутилась, отвела взгляд и больше никогда не предлагала ничего подобного.

Служанки мои, орчиха и эльфийка, были существами настолько разными, что поначалу я дивилась, как они вообще уживаются под одной крышей, — как уживаются в одной клетке медведь и ласточка. Орчиха — рослая, широкоплечая, с зелёной кожей, бугристой, как старая кора, и клыками, которые она прятала за скупой улыбкой, — оказалась на удивление хозяйственной: колола дрова, и топор в её руках пел, а не ухал; таскала воду, по два ведра разом, не сбиваясь с шага; чинила крышу, ворочала мешки, до которых мы с эльфийкой даже не пытались дотянуться. От неё пахло дымом и потом, и в этом запахе было что-то успокаивающее, надёжное, как запах хлеба. Эльфийка же — тонкая, светловолосая, с длинными пальцами, которые, казалось, созданы для лютни, а не для шила, — ведала тем, что требовало терпения: штопала одежду мелкими, ровными стежками, следила за травами и лечила всех нас от простуд и мозолей — прикладывала какие-то листья, поила горькими отварами, и, как ни странно, это работало. Они ссорились, но как-то по-домашнему, без злобы: орчиха ворчала, что эльфийка слишком нежная и от каждого сквозняка готова слечь; эльфийка вздыхала, что орчиха слишком громкая и топает, как лошадь, — и через минуту обе уже вместе тащили корзину или

ставили тесто, и в этом ворчании было больше тепла, чем в ином признании в любви. Я не вмешивалась. Впервые в жизни у меня было что-то похожее на семью, и я боялась это спугнуть — как бояться спугнуть птицу, севшую на подоконник.

Конюх-оборотень был самым молчаливым из нас и самым непонятным. Днём он чистил лошадей, латал упряжь, заготавливал сено, и руки его, покрытые старыми шрамами, двигались уверенно и спокойно, как у человека, который делает своё дело всю жизнь. А по ночам, случалось, уходил в лес — и возвращался к утру усталый, с колючками в волосах и странным, диковатым блеском в глазах, и от него пахло тогда мокрой землёй и чем-то звериным, что я не решалась назвать. Я никогда не спрашивала, куда он ходит. Он никогда не рассказывал. Но лошади — обе, старая гнедая кобыла с печальными глазами и молодой вороной мерин, горячий и нетерпеливый, — слушались его беспрекословно, и это было дороже любых слов. Телега наша, разошедшаяся и скрипучая, стояла под навесом; колесо держалось на честном слове — точнее, на вбитом клине и молитве, — и каждый выезд в ближайшую деревню за мукой или солью превращался в маленькое приключение, которое я предпочла бы не переживать. Трясло так, что зубы стучали, телега кренилась на бок, клин вылетал, и мы возвращались домой пешком, ведя лошадь под уздцы, в темноте, под дождём, и я клялась себе, что больше никогда, — а через неделю снова ехала, потому что мука кончалась, и выбора не было.

Денег не было. То есть совсем — не «туговато», не «в обрез», а так, что каждый медяк казался тяжелее камня, и я знала наперечёт все монеты, какие у нас имелись. Я пересчитала всё, что осталось от прежних хозяев, — горсть медных монет, тёмных, позеленевших от времени, стёртых чужими пальцами до полной неразличимости; пару серебряных, тонких, как лепестки, с едва угадывающимся профилем какого-то давно забытого короля; да несколько безделушек — колечко с мутным камешком, погнутая брошь, черепки какой-то посуды с золотой каймой, — которые экономка называла «на чёрный день» и трогать запрещала, и в её голосе при этом было столько суровой веры в этот самый чёрный день, что я не спорила. Каждый грош мы тратили с оглядкой: гвозди, верёвка, кусок мыла, соль, крупа — и я научилась считать в уме быстрее, чем когда-либо считала на Земле, потому что там счёт был абстракцией, а здесь — вопросом жизни и смерти. О ремонте дома я думала постоянно, как думают о незаживающей ране: крыша текла в двух местах, и в дождь вода стекала по стене тёмными, извилистыми ручьями, оставляя бурые разводы; ступени крыльца грозили обвалиться под ногой, и я ступала на них с осторожностью, как по льду; в дальней комнате осыпалась штукатурка, обнажая серую, зернистую кладку, и по утрам на полу собиралась мелкая, как мука, пыль; а из-под окна в спальне дуло так, что свеча гасла — не мигала, не дрожала, а именно гасла, с коротким, обиженным шипением, и я подолгу лежала в темноте, слушая, как ветер хозяйничает в комнате, как будто он здесь жил, а я была гостьей. Но ремонт стоил денег, а денег не было, и потому мы латали, подпирали, затыкали тряпками и мхом — и молились всем местным богам, имена которых я ещё путала, чтобы до зимы ничего не рухнуло окончательно.

Работали все. Я — наравне со всеми, и это было, пожалуй, самым странным, самым непривычным, самым выматывающим и — я не сразу это поняла — самым честным, что со мной случалось. На Земле я тридцать семь лет прожила, не задумываясь, откуда берётся вода в кране и тепло в батареях; я поворачивала вентиль, нажимала кнопку, платила по счетам — и всё это казалось мне само собой разумеющимся, как дыхание. Здесь я носила воду ведрами от колодца, выкопанного невдалеке, — два ведра на коромысле, и плечи горели, и вода плескалась на сапоги, и руки немели к третьему разу; топила печь, задыхаясь от дыма, пока не научилась складывать дрова правильно; копала, полола, обрезала сухие ветки, чинила забор, таскала сено, скребла котлы, и каждый вечер у меня ныли не только руки и спина, но и те мышцы, о существовании которых я раньше не подозревала. Мои руки огрубели, покрылись трещинами и тёмными пятнами, ногти обломались, кожа на костяшках потрескалась; спина ныла ровно, тупо, как больной зуб; синие глаза слезились от дыма и ветра, и по утрам я с трудом их раз-

лепляла, а по вечерам они горели, словно в них насыпали песка. Иногда, по вечерам, когда все расходились по своим углам — орчиха к себе, эльфийка к себе, экономка к своим мешкам и банкам, конюх в конюшню, — и в доме становилось тихо, так тихо, что слышно было, как дышат стены, я садилась у окна и смотрела на голые ветви яблонь, чёрные на фоне сизого неба, на далёкую полосу леса, на первые звёзды, загорающиеся одна за другой, и думала о том, что у меня, оказывается, всё-таки есть дом. Пусть полуразрушенный, пусть холодный, пусть с дырявой крышей и пустой кладовой, пусть чужой по всем бумагам и обстоятельствам. Но дом. И люди, которые остаются. И странное, тихое чувство, что я, кажется, впервые в жизни не бегу.

Глава 2

На Земле я была никем. Валентина Ольтова, тридцать семь лет, старший специалист отдела документооборота — должность, которая ничего не значила и никого не впечатляла, название которой я сама произносила с трудом, будто во рту оставался металлический привкус. Я снимала однокомнатную квартиру в панельной девятиэтажке на окраине, с видом на такие же панельные девятиэтажки — серые, одинаковые, с рядами одинаковых балконов, — и на пустырь, где зимой ветер гонял обрывки пакетов, а летом стояла сухая, чахлая трава. Обои в квартире были казённые, в мелкий цветочек, местами отходящие у плинтуса; на кухне — одна розетка, вечно занятая, и кран, который подтекал, сколько его ни подкручивай. Работала с девяти до шести, иногда до семи, иногда до восьми — и эти лишние часы я давно перестала считать чем-то из ряда вон выходящим, они просто растворялись в дне, как сахар в чае. Ездила на метро, стоя в толпе таких же усталых людей, которые смотрели в телефоны и не смотрели друг на друга, и в этой толпе было странно уютно: никого не надо было видеть, никто не видел меня. Возвращалась домой, ела что-то разогретое — чаще всего из контейнера, стоя у плиты, потому что садиться за стол одной было тоскливо, — смотрела сериал, где всё было ярче и громче, чем в моей жизни, ложилась спать. И так по кругу — год за годом, зима за весной, зарплата за зарплатой. Я знала этот круг наизусть, знала каждый его поворот, и от этого знания не было ни утешения, ни боли — только ровный, тупой, привычный гул.

Родителей я потеряла рано, ещё до тридцати, — сначала отца, потом мать, с разницей в два года, и я до сих пор помню больничный запах, казённые одеяла, короткие, неловкие разговоры о том, что надо держаться. Замуж не вышла — сначала не сложилось: был один, второй, третий, и все они уходили, как уходят поезда, — потом не захотелось, потом стало поздно, а потом я перестала об этом думать, и эта мысль перестала болеть, превратилась в тупое, застарелое ощущение, как рубец на коже. Друзья разъехались, разошлись по семьям, по городам, по своим жизням, и наши созвоны становились всё реже — сначала раз в месяц, потом раз в полгода, потом только открытки на праздники, — пока не прекратились вовсе. Я не была несчастна — я была никак. Середка жизни, серый цвет, ровный гул, как в трансформаторной будке под окнами.

В офисе меня считали исполнительной и незаметной; я приходила первой, когда коридоры были ещё тёмными, уходила последней, когда уборщица уже гремела ведром, пила кофе из автомата — жидкий, горячий, с привкусом пластика — и знала, что никому не буду сниться. Синие глаза, длинные волосы, высокая фигура — всё это было, но было как будто не для кого, как платье, сшитое не по размеру и висящее в шкафу. Я давно перестала ловить на себе взгляды и давно перестала ждать, что в моей жизни что-то произойдёт. Единственное, что я себе позволяла, — это мечтать. Тихо, стыдливо, по вечерам, когда за окном гасли чужие окна: о доме с садом, о большом тёплом окне, о ком-то, кто ждёт на крыльце. Утром я высмеивала себя за эти мечты — зло, беспощадно, как высмеивают слабость, — и ехала в офис.

В тот день ничего не предвещало. Обычный вторник — серый, промозглый, — обычная слякоть, обычное утро, когда небо и асфальт одного цвета и кажется, что весь мир не выпался. Я спускалась по лестнице своего подъезда — в доме как всегда отключили лифт, и я, как всегда, торопилась, хотя торопиться было некуда, — и ступени были мокрые от нанесённого с улицы снега, тёмные, блестящие, с разводами грязных следов. Перила были холодные, краска на них облупилась, а в голове — список задач на день: отчёт, звонок, согласование, ещё один отчёт. Я помню, что оступилась — нога соскользнула, — помню странное ощущение, будто ступенька под ногой исчезла, будто пол провалился, будто воздух вокруг стал другим — плотным, тёплым, пахнущим яблоками и землёй, так не похожим на запах подъезда. Помню удар, короткий и сильный, от которого в глазах вспыхнуло белое, помню, как в ушах зашумело, а

перед глазами пошли круги — тёмные, медленные, как расходятся по воде. А потом я открыла глаза — и увидела над собой не потолочную лампочку в подъезде, не серую бетонную плиту, а высокий сводчатый потолок с балками, тёмный от времени, с паутиной в углах, и узкое окно, в которое било серое небо — чужое небо, не моё. Я лежала на полу в чужом доме. В чужом мире. В чужой жизни. И первое, что я почувствовала, была не боль и не страх, а странное, почти неуместное удивление: воздух здесь пах иначе.

Первой рядом оказалась гномка — приземистая, седая, с руками, как у прачки, — красными, распаренными, с потрескавшимися костяшками и короткими, обломанными ногтями, — и взглядом, который видел меня насквозь, будто я была не человеком, а стеклянной, и сквозь меня можно было читать, как сквозь окно. Она не закричала, не отшатнулась, не всплеснула руками — только стояла и смотрела, и в этом взгляде было столько всего сразу: настороженность, усталость, любопытство и ещё что-то, чему я тогда не нашла названия, а потом поняла — узнавание. Она посмотрела на меня долго, так долго, что я успела почувствовать, как холод от половиц поднимается по спине, как саднит ссадина на виске, как дрожат пальцы, — а потом сказала что-то на незнакомом языке, гортанном, с твёрдыми согласными, и слова, против всякой логики, сложились в моей голове сами собой, понятные, как родные, будто я знала их всю жизнь и только забыла на время.

— Вставай, — сказала она. — Нечего лежать. Кто ты?

Я ответила. Я сказала:

— Валентина.

Голос у меня сорвался на середине, вышел хриплым, чужим, но имя прозвучало — и это имя, произнесённое в этом доме, под этими тёмными балками, впервые прозвучало не как строчка в таблице, не как подпись под отчётом, а как что-то настоящее. Как что-то, что принадлежало только мне.

Служанки сбежались на голоса — топот, шорох, стук в сенях, — и я успела увидеть их прежде, чем они увидели меня. Орчиха — с топором, занесённым на полпути, с зелёной кожей, блестящей от пота, с клыками, обнажёнными в невольной гримасе, — замерла в дверях, и топор в её руке был не игрушкой, я это поняла сразу, по тому, как уверенно он сидел в ладони. Эльфийка — с пучком трав, с длинными светлыми волосами, растрёпанными со сна, босая, в одной рубашке, — выглянула из-за её плеча, и в её глазах был не страх, а изумление. Они смотрели на меня, как на диковину: высокая, худая, в странной одежде — куртке с молнией, джинсах, кроссовках, — с чужими руками, слишком белыми и гладкими для этого мира, и чужими словами, которые ещё не слетели с губ. Я не понимала тогда, что происходит, и, наверное, выглядела жалко — растрёпанная, испуганная, с ссадиной на виске, из которой сочилась тонкая струйка крови, с дрожью в коленях, от которой никак не удавалось встать ровно, с растерянностью во взгляде, которую я не умела спрятать. Но гномка уже что-то решила — я видела это по тому, как она выпрямилась, как поджала губы, как перестала смотреть на меня как на случайность. Она обошла меня кругом, неспешно, внимательно, оглядела с ног до головы — задержалась на кроссовках, на молнии, на часах, которые всё ещё шли, отсчитывая время чужого мира, — потрогала ткань моей куртки, пощупала рукав, будто проверяла, настоящая ли, и кивнула. В этом кивке было больше, чем в иных словах: согласие, приговор, приглашение.

— Хозяйка, — сказала она коротко. — Больше никому.

Я не поверила. Не могла поверить — всё во мне восставало против этого слова, против этой комнаты, против этого мира. Я хотела объяснить, что я не хозяйка, что я никто, что я случайно, что я хочу домой. Но слова «домой» у меня не было, потому что дома у меня не было — и когда я это поняла, стоя посреди холодной комнаты, где от каменных стен тянуло сыростью и плесенью, где под ногами скрипели рассохшиеся половицы, где в углу темнел какой-то сундук, а на столе оплывала свеча, в окружении трёх незнакомых женщин, смотря на свои дрожащие руки — белые, гладкие, с обломанным ногтем на указательном, — я вдруг замолчала. Слова

застряли в горле, как кость. Гномка ждала. Она стояла неподвижно, сложив руки на груди, и её тень на стене была огромной и твёрдой, как скала. Орчиха опустила топор — медленно, не выпуская рукояти, — и я услышала, как лезвие звякнуло о половицу. Эльфийка переступила с ноги на ногу, и травы в её руке тихо зашелестели. И в этой тишине я услышала, как скрипят половицы под чьим-то осторожным шагом, как воет ветер в щелях — тоскливо, протяжно, как зверь, — как пахнет дымом и яблоками, сухими травами и старой золой. И как где-то внутри меня, в самой середине, в том месте, которое я давно считала выжженным и пустым, что-то встаёт на место — с тихим, почти неслышным щелчком, как встаёт на место вывихнутая кость.

— Хорошо, — сказала я. — Хозяйка.

Голос прозвучал глухо, незнакомо, но это был мой голос. Я произнесла это слово и почувствовала, как оно оседает во мне, тяжёлое, как камень, и лёгкое, как перо. Они приняли меня не за титул, не за кровь, не за деньги — у меня ничего этого не было, ни имени, ни рода, ни гроша за душой. Они приняли меня за то, что я осталась. За то, что я не убежала, не закричала, не отказалась, не стала биться в запертую дверь. За то, что на следующее утро я встала вместе с ними — до рассвета, в холоде, с непривычной тяжестью в теле, — и взяла в руки ведро, тяжёлое, холодное, с облупившейся эмалью, и понесла его к колодцу, и не уронила, и не заплакала, хотя очень хотелось. Конюх-оборотень посмотрел на меня один раз — молча, долго, — и с тех пор относился ко мне как к своей, то есть почти не замечал, но всегда был рядом: появлялся в дверях, когда я не могла поднять мешок, чинил то, что я сломала, и уходил, не дожидаясь благодарности. Орчиха проверила, не боюсь ли я работы, — дала мне топор и показала поленницу, и я рубила, пока не онемели плечи, и она смотрела, прищурившись, и в её взгляде было что-то похожее на уважение. Эльфийка проверила, не боюсь ли я боли, — промыла мою ссадину каким-то жгучим отваром и приложила листья, и я терпела, стиснув зубы, и она кивнула, будто я сдала экзамен. Гномка проверила, не боюсь ли я считать копейки, — вручила мне список расходов и заставила пересчитать всё, до последнего гвоздя, и я считала, и не сбилась, и она не сказала ни слова, но губы её дрогнули. Я не боялась. Я боялась только одного: что однажды проснусь и окажусь снова на той лестнице, в том подъезде, с мокрыми ступенями и облупившимися перилами, в той серой жизни, где меня никто не ждёт, где я — никто, где моё имя ничего не значит.

Здесь меня ждали. Пусть с пустой кладовой, где по углам гуляет сквозняк; пусть с дырявой крышей, под которой капает в дождь; пусть с мозолями на ладонях и ноющей спиной; пусть с хлебом, который приходилось делить на всех, и с чаем, который заваривали из трав, потому что настоящий давно кончился, — но ждали. Каждое утро меня ждали дела, которые без меня никто не сделает. Каждый вечер меня ждал дом, который без меня замёрзнет. И впервые за тридцать семь лет я была не «никем». Я была хозяйкой.

Глава 3

К вредителям в этом мире относились серьёзно — не как к досадной мелочи, не как к неизбежному злу, с которым можно мириться, а как к врагу, с которым у сада идёт война не на жизнь, а на смерть, война тихая, изнурительная, без перемирий и пощады. Гномка, Марта, первая завела об этом разговор, когда мы сидели за ужином из пустой похлёбки и чёрствого хлеба — похлёбка была жидкая, чуть мутная, с редкими крупинками, а хлеб такой сухой, что его приходилось размачивать, — и в комнате пахло дымом и старой золой. Она постучала ложкой по столу — коротко, резко, как ставят точку, — и сказала, что если мы не обработаем деревья сейчас, в ортансе, то к осени останемся без яблок, а значит — без запасов на зиму, без продажи, без денег на гвозди и соль. Я к тому времени уже научилась не спорить с её «если»: в её устах это слово звучало как приговор, как то, что уже случилось и не подлежит обжалованию. Я просто спросила:

— Что нужно делать?

Оказалось, что в этом мире сад лечат не одной химией, не опрыскиванием из баллона, не порошком из пакета, — а тремя силами сразу: травой, огнём и словом. И каждой из нас нашлась своя роль, своё место в этой войне, своё оружие.

Начали с осмотра. Мы с эльфийкой, которую звали Ирма, обходили деревья по кругу — медленно, ветка за веткой, — и она учила меня видеть то, чего я раньше не замечала, то, что для городского глаза было невидимо, как невидима пыль на стекле. Крошечные липкие точки на обратной стороне листьев, похожие на крошки засохшего мёда; паутинку в развилках, тонкую, серую, почти прозрачную; бурые наросты на коре, твёрдые, как бородавки; скрученные, будто обожжённые, молодые побеги, которые уже никогда не распрямятся. Это были кладки, гнёзда, личинки — целые города, построенные нашими врагами на теле наших деревьев. Ирма трогала их длинными пальцами — осторожно, но без брезгливости, — шептала что-то себе под нос, слова, которых я не разбирала, и помечала больные места красной тряпицей — чтобы не сбиться, чтобы вернуться, чтобы не пропустить. Я держала корзину с её снадобьями — склянки, пучки, мешочки, — и чувствовала, как во мне поднимается злость, горячая, густая, какой я давно в себе не знала: эти мелкие твари, эти невидимые враги жрали наш единственный шанс на выживание, и я впервые в жизни понимала, что значит защищать своё. Не абстрактное «свое» — квартиру, должность, место в метро, — а вот это: кривую яблоню, которая переживёт меня, если я о ней позабочусь.

Главное средство готовила всё та же Ирма. В большом котле — чёрном, закопчённом, с вмятиной на боку — она заваривала горькие травы: полынь, которую здесь называли «ведьминой плетью», серую, сухую, с резким, дурманящим запахом; кору дикой яблони, тёмную, смолистую, которую приходилось толочь в ступке до состояния пыли; листья крапивы, жгучие даже в сушёном виде; что-то острое, от чего щипало глаза и першило в горле, от чего хотелось кашлять и плакать одновременно. Вода в котле сначала была прозрачной, потом становилась жёлтой, потом бурой, потом почти чёрной, и по комнате расползлся запах — тяжёлый, горький, с сладковатой гнильцой, от которого кружилась голова. В отвар она добавляла щепотку соли — «чтобы зелье держалось», каплю мёда — «чтобы прилипало к листу», — и, что казалось мне колдовством, хотя я уже давно перестала удивляться, три капли собственной крови. Она надрезала палец ножом — быстрым, привычным движением, — и кровь падала в котёл тёмными, тяжёлыми каплями, и я смотрела на это, затаив дыхание, и не могла отвести взгляд. Ирма говорила, что кровь — это печать, что дерево должно знать, кто его лечит, что без этого отвар — просто грязная вода. Я не спрашивала, правда ли это. Я видела, как отвар на глазах темнеет, густеет, как меняется его цвет, как он начинает слабо светиться зеленоватым — тускло, как светятся гнилушки в лесу, — и понимала, что магия здесь не выдумка, не сказка

для детей, а ремесло, такое же, как рубка дров или замешивание теста, — тяжёлое, грязное, требующее терпения и точности.

Орчиха, Гвендолин, отвечала за силу. Она вливала отвар в большой медный опрыскиватель — тяжёлую штуку с ручным насосом, с помятым баком и рычагом, который ходил туго, с натужным скрипом, — которую сама же и починила: заменила прокладку куском старой кожи, подкрутила гайку, подвязала проволокой то, что держалось на честном слове. Опрыскиватель оставлял на её ладонях медный запах и зелёный налёт, который не отмывался даже песком. Она ходила между деревьями — тяжело, уверенно, широко ставя ноги, — качая рычаг и окутывая ветви мелкой, пахучей, светящейся взвесью, и в утреннем свете эта взвесь висела в воздухе, как зелёный туман, как дыхание самого сада. Руки у неё были в зелёной чешуе от брызг — не той гладкой, а шершавой, как накипь, — клыки блестели, когда она скалилась от усилия, и она ворчала, что эльфийские зелья воняют хуже болота, что от них першит в горле и слезятся глаза, что нормальные орки лечат деревья дымом и пеплом, а не этой травяной бурдой. Но работала она как машина — ровно, без усталости, без жалоб, которые сама же и заводила, — дерево за деревом, ряд за рядом, и не пропускала ни одной красной тряпицы, ни одной метки, ни одного больного места. Я ходила следом с ведром — тяжёлым, облупленным, с погнутой дужкой, которая резала ладонь, — и подливала отвар, потому что опрыскиватель быстро пустел, и к полудню мои плечи горели так, будто я таскала не воду, а камни, будто ведро становилось тяжелее с каждым шагом, будто руки вот-вот оторвутся и упадут в траву.

Огнём занимался конюх-оборотень, Бертран. Там, где кора была изъедена личинками и наростами, где эльфийские травы не помогали — не брали, не проникали, не доставали до корня, — нужен был жар. Бертран разводил маленький, аккуратный костёр в железном тазу — таз был старый, с прогоревшим дном, но держался, — и пламя в нём было низким, ровным, почти бездымным, как дыхание спящего зверя. Он раскалял на этом огне короткий нож — с широким лезвием, с деревянной рукоятью, потёртой до блеска, — и прижигал больные места на стволах: быстро, точно, без единого лишнего движения, без колебаний, без жалости. Запах стоял страшный: палёная кора, горелая паутина, что-то кислое и живое, что с шипением умирало под лезвием, — и этот запах впитывался в волосы, в одежду, в кожу, и я потом долго не могла его выветрить, просыпалась от него по ночам. Я боялась, что он сожжёт деревья, что от сада останутся чёрные пни, что мы потеряем всё, — но он работал, как хирург, и после него на месте язв оставалась сухая чёрная корочка, тонкая, как пергамент, а через день-другой под ней уже набухла новая, чистая кора — светлая, гладкая, живая. Он не сказал мне ни слова за всё время. Ни слова упрёка, ни слова объяснения, ни слова утешения. Только один раз, когда я поднесла ему воды — ковш, полный до краёв, который я несла, боясь расплескать, — посмотрел на меня — долго, внимательно, как смотрят на человека, которого только что узнали, — и чуть кивнул, едва заметно, и я поняла, что меня приняли в это дело всерьёз.

А потом была моя часть. Марта отвела меня в дальнюю комнату — ту самую, где осыпалась штукатурка, где пахло пылью и мышами, где на полу лежал слой серой, мелкой пыли, — и там, на полке, под слоем паутины, стоял старый, потрепанный фолиант в кожаной обложке. Обложка была тёмная, потрескавшаяся, углы обтрёпаны, застёжка сломана, и от книги пахло — не бумагой, не пылью, а чем-то живым, тёплым, как пахнет земля после дождя. Садовый требник прежних хозяев. Марта раскрыла его на странице, исписанной ровным, выцветшим почерком — буквы были мелкие, с завитками, чернила побурели от времени, но читались ясно, — и сказала:

— Читай. Вслух. Каждое дерево называй по имени.

Я не сразу поняла. Имена деревьям не давали — по крайней мере, я так думала, — но у них были номера, метки, ряды: «первое у восточной стены, третье от колодца, старое, что у развилки», — сухие, казённые обозначения, которые ничего не значили, не грели, не напоминались. Я ходила по саду с фолиантом в руках — тяжёлым, неудобным, с осыпающимися

уголками страниц, — останавливалась у каждого ствола, который мы уже обработали, у каждой яблони, помеченной красной тряпицей, и читала вслух: медленно, спотыкаясь на незнакомых словах, которые царапали горло и не хотели складываться в речь, — старинное заклинание-оберег, длинное, витиеватое, похожее не на молитву, а на разговор, на просьбу, на обещание. Голос у меня дрожал и садился — к середине дня он становился хриплым, чужим, — язык заплетался, я путала окончания, сбивалась, начинала заново, и от этого злилась на себя, на книгу, на весь этот мир, где даже слова надо было учить заново. Но Марта стояла рядом — неподвижно, сложив руки на груди, — и кивала:

— Громче. Дерево должно слышать, что его не бросили.

И дерево слышало. Я не могу объяснить это иначе — не умею, не хочу, да и не нужно, наверное, объяснять. Через несколько дней после обработки те яблони, что стояли ближе к дому — самые старые, самые кривые, самые безнадёжные на вид, — начали распрямляться: не вдруг, не сказочно, а медленно, почти незаметно, как распрямляется уставшая спина. Листья на них стали плотнее, темнее, с каким-то новым, глубоким блеском, будто их протёрли изнутри, а кое-где, на самых молодых ветках, на самых тонких побегах, проклюнулись бутоны — маленькие, тугие, розоватые, ещё не раскрывшиеся, но живые. Ирма сказала, что это от отвара — травы сделали своё дело. Гвендолин — что от жара, что огонь выжег заразу до последней личинки. Марта — что от чтения, что слово дошло. А я думала, что, наверное, от всего сразу: от травы, от огня, от слова и от того, что пятеро чужих, случайных, никому не нужных существ — гномка с красными руками, орчиха с топором, эльфийка с травами, оборотень с ножом и я, никто, пришедшая, случайная, — впервые делали одно дело не за страх, а за совесть. Не по приказу, не по обязанности, не потому, что надо, — а потому, что иначе нельзя, потому что это наше, потому что если не мы, то кто. К вечеру мы все валились с ног — не садились, а падали, где стояли, — руки были в волдырях, покрытых тонкой, натянутой кожей, одежда — в бурых пятнах, которые не отстирывались, волосы пахли пылью и дымом, и этот запах казался мне запахом победы. Но когда я выходила на крыльцо — на скрипучие, грозящие обвалом ступени, — и смотрела на сад, на голые ветви, которые уже не казались голыми, на тёмные стволы, которые уже не казались мёртвыми, мне казалось, что деревья стоят чуть прямее, чем утром. И что это — моя работа. Наша. Первая настоящая победа в этом мире.

Глава 4

О прикормке я узнала случайно — точнее, Марта сама решила, что пришло время, и без лишних слов, без объяснений, без предисловий повела меня в подпол. Я спускалась следом за ней по крутой, скользкой лестнице — ступени были неровные, вытертые, земляные, кое-где подгнившие, — держась за холодную стену, покрытую липкой, влажной плесенью, и вдыхала сырой, землистый запах, в котором мешались прель, плесень и что-то ещё — терпкое, тёплое, живое, будто в темноте кто-то дышал. В самом дальнем углу, за мешками с крупой, расплзшимися, тяжёлыми, за связками сушёных кореньев, которые висели под низким потолком, как чьи-то тёмные пальцы, стояла на полке жестяная банка. Обычная с виду — помятая, с потёртой крышкой, с пятнами ржавчины по краям, без единой надписи, без единой метки, — но когда Марта сняла её двумя руками, как снимают что-то тяжёлое, живое, несоразмерное своим размерам, я почувствовала, как у меня по спине пробежал холодок. Она протянула банку мне.

— Прикормка, — сказала она. — Хранится здесь, потому что в тепле портится, а на свету теряет силу. Разбросать под каждым деревом, по горсти, ровно по кругу, не ближе локтя от ствола. Потом полить водой — по полведра на яблоню. И не спешить. Она сама знает, куда идти.

Я открыла крышку — с усилием, потому что та сидела плотно, будто её закручивали годами. Внутри была не пыль и не гранулы, как я ожидала — я ещё мыслила старыми мерками, мешками с удобрением, пакетами с порошком, — а тёмная, влажная, чуть светящаяся масса, как земля, смешанная с чем-то живым, с чем-то, что жило своей собственной, медленной жизнью. Пахло от неё старым лесом — не тем, что виден из окна, а другим, глухим, древним, куда не заходят люди, — грибным дождём, прелыми листьями и мёдом одновременно, и этот запах был до того густым, что его можно было пить. Я провела пальцем по краю — и кончик пальца на миг потеплел, будто внутри банки что-то шевельнулось, будто там, в темноте, что-то повернулось на другой бок. В этом мире я уже перестала удивляться чему-либо. Так что я просто закрыла крышку и понесла банку наверх, и она была тёплая, как живая.

Разбрасывали мы вчетвером — я, Гвен, Ирма и Марта, — потому что Бертран был занят лошадьми, а работа требовала не силы, а терпения. День выдался на удивление тихий, без ветра — редкий гость в этих местах, — серое небо висело низко, тяжело, как мокрое одеяло, и в саду стояла та особенная, звенящая тишина, когда слышно, как капает вода с веток — редко, размеренно, как удары сердца, — и как где-то далеко, за холмом, кричит птица, одинокая, протяжно. Мы начали с дальних рядов, чтобы не топтать уже подкормленную землю, и шли медленно, по колено в мокрой траве, оставляя за собой тёмные следы.

Я брала из банки по горсти — прикормка была прохладной и лёгкой, почти невесомой, как высохший мох, как пух, как что-то, что вот-вот растает в ладони, — и медленно, шаг за шагом, обходила каждое дерево по кругу, разжимая пальцы. Она ложилась на землю неровными тёмными пятнами, но уже через несколько мгновений начинала сама расплзаться, впитываться, уходить в почву тонкими жилками — как будто земля пила её жадно, торопливо, как пьёт пересохшая глотка. Там, где прикормка касалась корней, земля темнела и становилась чуть тёплой — я проверяла ладонью, опускалась на колени, прижимала руку к мокрой земле и чувствовала, как тепло поднимается сквозь пальцы, медленное, сытое, живое. Ирма шла следом и поливала из ведра — аккуратно, ровно, — и вода, падая на эти тёмные круги, шипела еле слышно, будто гасила что-то, — но не гасила, а несла дальше, вглубь, к самым корням, туда, куда не доставали ни руки, ни взгляд.

Гвен работала быстрее всех. Она шла по ряду широким, уверенным шагом — земля под её сапогами приминалась, трава ложилась, — бросала горсти щедро, но точно, размашисто, как сеют зерно, и ворчала себе под нос, что «эта дрянь липнет к коже, как смола», что «руки

потом три дня отмывать», что «эльфийские выдумки, а мучается орчиха». Но при этом она ни разу не бросила горсть мимо, не пропустила дерева, не срезала угол. Марта двигалась медленнее, но вернее: она останавливалась у каждого ствола — грузно, с кряхтением, — наклонялась, опираясь на колено, смотрела на корни, на землю, на трещины в коре, и иногда что-то поправляла: отгребала лишнюю землю, убирала камень, раздвигала траву, — и только потом кивала нам: можно. Я впервые видела её такой. Обычно сухая и собранная — поджатые губы, быстрый взгляд, резкие движения, — здесь, в саду, на коленях перед деревьями, она была похожа на жрицу: спокойная, неторопливая, знающая что-то, чего не знали мы, что-то старое, как сама эта земля, как этот сад, как этот мир.

К полудню мы прошли половину сада — руки онемели, спины не разгибались, в горле пересохло от пыли и полынной горечи, — и я выпрямилась, разминая спину, упираясь ладонями в поясницу, чувствуя, как ноют мышцы, о существовании которых я ещё месяц назад не подозревала. И вдруг заметила, что деревья, которые мы обработали первыми — те самые, у восточной стены, у колодца, у развилки, — выглядят иначе. Не то чтобы они зазеленели в одночасье — нет, этого не было и быть не могло, — но воздух вокруг них дрожал еле заметно, как дрожит воздух над горячей землёй летом, как дрожит марево над дорогой в жаркий день: тонко, прозрачно, неуловимо. Ирма подошла — бесшумно, как всегда, — встала рядом, посмотрела, склонив голову набок, и сказала тихо, почти шёпотом:

— Они дышат.

Я не стала спрашивать, что это значит — боялась разрушить момент, боялась услышать объяснение, которое всё испортит, — я просто взяла банку, тяжёлую, тёплую, и пошла к следующему дереву, и в груди у меня было что-то, чему я не находила названия: не радость, не гордость, а тихое, глубокое, почти материнское чувство, будто я делаю что-то важное, что-то, что останется после меня.

К вечеру, когда последняя яблоня получила свою горсть — самую дальнюю, самую чахлую, ту, на которую мы уже махнули рукой, — и последнее ведро воды ушло в землю, впитываясь, шипя, уходя вглубь, мы все сидели на крыльце — грязные, усталые, с липкими от прикормки руками, с волосами, в которых запутались травинки и земля, — и смотрели на сад. Марта держала пустую банку на коленях — жестяную, помятую, тёплую, как живую, — и молчала, и в её молчании было больше, чем в любых словах. Гвен ковыряла занозу в ладони — большой, загрубевшей, зелёной ладони, — морщилась, но не жаловалась. Ирма перебирала в пальцах травинку — длинную, узкую, — наматывала её на палец и разматывала, наматывала и разматывала, как делают, когда думают о чём-то своём. И в этой тишине — тёплой, вечерней, наполненной запахом земли и дыма, — я вдруг почувствовала, как под нами, глубоко в земле, что-то медленно, тяжело, довольно шевелится, как будто сад, впервые за долгие годы, наелся досыта, наконец-то, впервые за всё время, что я его знала. Пройдёт время, прежде чем прикормка впитается до конца, прежде чем корни дотянутся до неё, прежде чем она разойдётся по стволам, по веткам, по листьям, — но я уже знала: урожай будет. Больше, чем мы можем себе представить. И это будет нашим.

Глава 5

Гостей я увидела издалека — с холма, от колодца, куда пошла за водой. По дороге, той самой, что вела от тракта через пустошь — пыльной, разбитой, с колеями, в которых стояла дождевая вода, — катила добротная, лакированная карета, запряжённая четвёркой гнедых, а следом — крытая телега с сундуками и прислугой. Лакированные бока кареты блестели на солнце, которого наш сад не видел уже несколько дней, и от этого блеска веяло чем-то чужим, городским, дорогим. Так в мою усадьбу ещё никто не приезжал — ни один человек, ни одна повозка, ни один всадник. Я поставила ведро — тяжёлое, полное до краёв, — вытерла руки о передник, оставляя на нём мокрые тёмные следы, и почувствовала, как внутри всё сжимается — не от страха, не от волнения, а от глухого, злого предчувствия, какого-то холодного, тяжёлого комка под рёбрами. Я уже успела выучить, что в этом мире никто ничего не делает просто так. Никто не приезжает в такую даль, к полуразрушенной усадьбе, по разбитой дороге, без причины.

К тому времени, как карета остановилась у крыльца — колёса скрипнули, лошади всхрапнули, — мы успели собраться. Марта вышла первой, в чистом фартуке, с поджатыми губами, и её лицо было непроницаемым, как камень. Гвен встала у двери, скрестив руки на груди, так что клыки её были чуть видны — этого она и добивалась, — и в её позе было столько готовности, что я почти испугалась за гостей. Ирма держалась позади, в тени — я видела только светлое пятно её волос да край платья, — и от этого её присутствия становилось спокойнее. Бертран не вышел вовсе, но я знала, что он где-то рядом, за углом конюшни, и что если что — он появится прежде, чем кто-либо успеет пожалеть. Дом наш, полуразрушенный и латаный — тряпками в щелях, мхом в стыках, досками на крыше, — вдруг показался мне особенно жалким: серые стены, тёмные окна, покосившееся крыльцо. И особенно моим. Я вышла на крыльцо, выпрямилась во весь рост — тридцать семь лет, длинная, худая, в залатанном платье, с чужими руками, — и сложила руки перед собой, как складывала их Марта, и это было всё, что я могла противопоставить блеску чужого серебра.

Из кареты вылез барон. Как я потом узнала, его звали Ольгерд горт Гартанс, — высокий, плотный, с сединой в аккуратно подстриженной бороде, в добротном тёмно-синем камзоле и перчатках, которые он снял, только взойдя на ступени. Улыбался он широко, почти приветливо, но глаза у него не улыбались — они обшаривали двор, крышу, стены, колодец, служанок, лошадей, телегу, каждую вещь, каждую трещину, каждое лицо. Я видела этот взгляд раньше. Так смотрят люди, которые пришли не в гости, а оценить — стоит ли брать. Следом вышла его супруга, баронесса — сухая, прямая, в тёмном платье с высоким воротом, в маленьких тёмных перчатках, — оглядела меня с ног до головы одним долгим движением зрачков и не сказала ничего. И в этом молчании было больше оценки, чем в любых словах. А за ней — дочери.

Дочерей мне барон представил позже.

Сальма, старшая, сошла первой. Ей было, наверное, лет двадцать пять — может, чуть больше, я не умела ещё определять возраст местных женщин. Некрасивая — я говорю это без злобы, просто как факт, как отмечают цвет неба или высоту травы: тяжеловатое лицо, широкое и плоское, близко посаженные глаза, светлые и водянистые, редкие волосы, которые она прятала под капором — тёмным, простым, без единого украшения, — сутулые плечи, узкие, как у птицы, и руки, которые она держала у живота, теребя край платья. Она держалась в стороне, смотрела в землю — не в землю вообще, а под ноги, на пыль, на траву, на свои башмаки, — и присела в книксене так тихо, так незаметно, что я едва заметила это движение, а когда заметила, она уже выпрямилась и снова опустила глаза. В ней было столько покорности, столько привычки быть невидимой, что у меня защемило под рёбрами — я знала это состояние. Я жила в нём тридцать семь лет.

А вот Лисса, младшая, выпрыгнула из кареты сама, не дожидаясь руки лакея, — легко, звонко, как выпрыгивают дети, для которых мир — это игра. Лет восемнадцать, румяная, светловолосая, с ямочками на щеках и улыбкой, которую она явно берегла для зрителей, — для тех, кто смотрит, кто оценит, кто запомнит. Она огляделась — быстро, цепко, — нашла меня глазами и улыбнулась ещё шире: так, как улыбаются люди, привыкшие, что им все рады, что мир им обязан, что улыбка — это ключ, который открывает любые двери. Я улыбнулась в ответ. Ровно настолько, насколько требовала вежливость, — и ни каплей больше. Я давно научилась этой улыбке в офисе, за годы и годы: она ничего не значит, никого не пускает внутрь, но при этом всё соблюдает.

Барон поднялся на крыльцо — тяжело, уверенно, ступени под ним даже не скрипнули, — и остановился передо мной. Он был выше меня на полголовы, широкий, тёмный, и ему это явно нравилось — он смотрел на меня сверху вниз, чуть склонив голову набок, как смотрят на товар: оценивая, прикидывая, решая. Вблизи я увидела, что его седина — не благородная, а какая-то жёсткая, как проволока, и что перчатки он снял не из вежливости, а потому что руки у него были ухоженные, и он это знал.

— Так вот вы какая, новая хозяйка, — сказал он. Голос у него был низкий, бархатный, привыкший к тому, что его слушают, привыкший к тишине в ответ на свои слова. — Валентина Ольтова. Наслышан, наслышан. Говорят, вы приняли этот дом в полном запустении и не побоялись остаться. Похвально. Похвально.

Он сказал «похвально» так, будто хвалил ребёнка за то, что тот доел кашу, — снисходительно, ласково, с той особой интонацией, которой взрослые отделяют себя от маленьких. Я не опустила глаз. Я смотрела прямо на него — я, в залатанном платье, с мозолями на ладонях, с чужой речью на языке, — и в этой прямоте было всё, что у меня осталось: дом, сад, мои женщины, моя земля.

— Добро пожаловать, барон, — сказала я. Голос прозвучал ровно, спокойно, и я сама удивилась этой ровности — внутри всё кипело, но снаружи я стояла прямо, как учила меня Марта, как учит земля, когда на ней стоишь. — Усадьба небогата, но крыша есть, и чай найдётся. Проходите.

Он не двинулся с места. Он обернулся — нарочно медленно, будто хозяйничая, будто уже стоя на своём крыльце, в своём дворе, — и обвёл рукой окрестности: покосившийся забор, в котором не хватало досок; дырявую крышу конюшни, сквозь которую светило небо; старую телегу с колесом на честном слове; две яблони, что росли ближе всех к дому и уже стояли обработанные, подкормленные, с тёмной, живой землёй под корнями, — и в этом жесте было столько собственнической неспешности, что мне захотелось заслонить собой сад.

— Хорошая земля, — сказал он задумчиво. — Хорошая земля, крепкий холм, вода рядом. Да, место с потенциалом. С большим потенциалом.

Он произнёс это не мне. Он произнёс это как бы в воздух — в серое небо, в пустоту, в пространство между нами, — как человек, который уже прикидывает в уме, где поставить новый дом, где разбить парк, где выкопать пруд, а где — конюшни, и в его голосе была та особая, деловая мечтательность, от которой у меня холодели пальцы. Супруга его в это время уже поднималась по ступеням — не спрашивая разрешения, просто поднималась, — и заглядывала в приоткрытую дверь, оценивая прихожую: тёмные стены, земляной пол, узкое окно, запах дыма и сырости. Она не морщилась — она запоминала. Лисса, стоя внизу, разглядывала наш сад с любопытством, которое мне не понравилось, — так смотрят на чужое, которое скоро станет своим, так примеряют платье, которое ещё не куплено, но уже нравится. А Сальма так и осталась у кареты, опустив глаза, — тёмная, сутулая, неподвижная, как тень, — и мне вдруг стало её жалко, сильнее, чем всех остальных. Она, кажется, понимала, зачем её привезли, — лучше, чем хотела бы, лучше, чем я сама.

Я отступила на полшага, освобождая проход, — этого полшага мне стоило больше, чем иной день работы, — и жестом пригласила всех в дом. Марта уже гремела в кладовой посудой — я слышала, как звякают чугунки, как переставляются глиняные миски, как скрипит дверца шкафа, — и в этом грохоте было столько привычной, сердитой заботы, что мне стало чуть легче. Гвен стояла у стены — широко, неподвижно, — и смотрела на барона так, как смотрят на волка, который слишком близко подошёл к овчарне: без страха, без вызова, просто отмечая расстояние, прикидывая, сколько шагов останется до него, если что. Клыки её были чуть видны, и она этого не прятала. Ирма скользнула внутрь первой — бесшумно, как тень, — чтобы поставить чайник, и я знала, что в этот чайник она бросит свои травы, и что чай будет не просто чаем, а чем-то, что успокаивает и отрезвляет одновременно. Я шла последней — и, переступая порог, обернулась на сад. На деревья, которые мы лечили, кормили, спасали — кривые, старые, с чёрными корочками на месте язв, с тёмной, живой землёй под корнями. На землю, которую впервые за долгие годы накормили досыта. На дом, который всё ещё стоял — криво, латано, но стоял — только потому, что мы не дали ему упасть.

— Посмотрим, — сказала я тихо, себе под нос, одними губами. — Посмотрим, чей это холм.

Барон, уже в прихожей — уже за моей спиной, уже в моём доме, — обернулся и поднял бровь. Он услышал. У него был слух человека, который привык слышать то, что говорят за спиной.

— Простите, не расслышал?

— Ничего, — сказала я и улыбнулась — той самой улыбкой, офисной, ровной, ничего не значащей. — Проходите, барон. Чай стынет.

Глава 6

Чай мы пили в единственной более-менее целой комнате — той, что когда-то, наверное, была столовой: длинной, с низким потолком, с тёмными балками, с окном, в которое бил серый свет, и с камином, который мы давно не топили, потому что дрова берегли. Стол был длинный, тёмный, с глубокими царапинами по всей поверхности — следами чьих-то ножей, чьих-то монет, чьих-то пальцев, — и с одного края у него не хватало угла, будто откусили. Стульев не хватало — их было всего три, разной высоты, с шаткими ножками, — и Гвен принесла из кухни табурет, низкий, грубо сколоченный, а Бертран, которого я всё-таки позвала — тихо, одними губами, в сенях, — вынес из конюшни скамью, длинную, тяжёлую, пахнущую сеном и лошадьми, и поставил её с краю, и сам сел на самый конец, в тень. Посуда была та самая — разномастная, со сколами: чугунный чайник, закопчённый, с помятым боком; глиняные чашки, каждая своего цвета и размера; деревянные ложки, отполированные до блеска. Марта поставила на стол всё, что у нас было: горшочек мёда — тёмного, густого, драгоценного; хлеб — вчерашний, но ещё мягкий; сыр — кусок, небольшой, с чуть подсохшей коркой; несколько яблок — прошлогодних, сморщенных, но ещё крепких, из тех, что мы берегли на самое дно ящика. Она делала это молча и без извинений — не суетилась, не оправдывалась, не говорила «простите, у нас скромно», — и я была ей за это благодарна. Извиняться было не за что. Мы не обязаны были выглядеть богаче, чем есть.

Барон сел первым, не дожидаясь приглашения, — во главе стола, там, где обычно садилась я. Он развернул стул — единственный приличный, с подлокотниками, — уселся удобно, откинулся на спинку, оглядел стол, посуду, хлеб, мёд, яблоки, — и улыбнулся той же широкой, ничего не значащей улыбкой, от которой у меня сводило скулы.

— Скромно, — сказал он. — Но, впрочем, чего ещё ожидать от дома, который год стоял без хозяина. Хотя, признаюсь, я ожидал худшего. Говорили, тут и вовсе жить нельзя.

— Говорили верно, — ответила я, садясь напротив — не во главе, а напротив, чтобы видеть его лицо, — и разливая чай, потому что это было моё право, моё место, моё дело. — Полгода назад тут и вовсе жить было нельзя. Теперь можно.

— О, — барон поднял бровь — седую, жёсткую, как проволока. — Уже полгода? И вы всё это время — одна? С двумя служанками и стариком конюхом?

— С двумя служанками, экономкой и конюхом, — поправила я. — И не одна. Нас пятеро.

Баронесса, сидевшая по правую руку от мужа — прямая, тёмная, неподвижная, — аккуратно поставила чашку на стол. Не стукнула, не звякнула, а именно поставила — медленно, выверенно, — с той осторожностью, которая выдаёт людей, привыкших, что всё вокруг может испачкаться: скатерть, посуда, люди. Она не пила. Она держала чашку в руках, как держат реквизит, — для вида, для приличия, для того, чтобы было чем занять руки.

— Пятеро, — повторила она ровным голосом, без выражения, как читают список. — И вы не боитесь? Женщина, одна, вдали от дорог, с прислугой из... — она сделала крошечную паузу, едва заметную, но я её услышала, — ...разных рас.

— Не боюсь, — сказала я. — Мои люди меня не обижают. А от чужих нас, если что, есть кому защитить.

Гвен, стоявшая у стены — широкая, неподвижная, с руками, скрещёнными на груди, — при этих словах чуть шевельнулась: не улыбнулась, не кивнула, а как-то иначе переступила с ноги на ногу, тяжело, с едва слышным скрипом половиц, и я поняла, что она услышала. Что она всё слышит, каждое слово, каждую паузу, каждую интонацию, и что за моей спиной — стена. Баронесса тоже услышала — поджала губы, тонкие, бесцветные, и в этом движении было столько неодобрения, что воздух в комнате стал чуть холоднее.

Лисса, младшая, сидела рядом с матерью, но смотрела не в стол, не в чашку, не на отца, а на меня: открыто, весело, с тем любопытством, которое обычно означает, что человек ещё не научился скрывать свои мысли или просто не считает нужным. Она первой взяла яблоко — прошлогоднее, сморщенное, из тех, что мы берегли, — откусила с хрустом, прожевала, и сказала с набитым ртом, не дожидаясь, пока заговорит кто-то из старших:

— А вы красивая. Вам идёт это платье. Оно простое, но вам идёт.

— Лисса, — сказала баронесса, не повышая голоса, — ровно, холодно, как одёргивают собаку.

— Что? — Лисса пожала плечами — легко, беспечно, — и улыбнулась мне, и в этой улыбке было столько простодушия, что я почти поверила. — Это правда. Я говорю правду. Мадам Валентина, а у вас есть муж?

— Нет, — сказала я.

— И жениха нет?

— Нет.

Лисса откусила ещё раз, прожевала — медленно, обдумывая что-то своё, — и посмотрела на отца с видом человека, который только что нашёл нужный ответ в задачке: нашёл, решил, и теперь ждёт, когда его похвалят. Барон сделал вид, что не заметил, — он смотрел в чашку, будто там было что-то интересное, — но я видела, как дрогнул уголок его рта. Баронесса сделала вид, что не заметила, — она поправила складку на платье, — но её пальцы на миг сжались. А Сальма, старшая, сидевшая с самого краю — на табурете, в тени, — опустила глаза ещё ниже, и стала похожа на тень отца семейства: молчаливую, незаметную, привычную.

— А мы к вам не просто так, — сказал барон, отхлебнув чаю и поморщившись — чай был крепкий, без сахара, с мёдом, и мёд этот был наш, последний, — и в этой гримасе было столько брезгливости, что мне захотелось забрать у него чашку. — Мы, признаться, наслышаны. Земля у вас хорошая. Сад — на удивление. Говорят, вы его в порядок привели. Люди говорят, — он повёл чашкой, неопределённо, в сторону окна, в сторону сада, в сторону всего сразу, — будто деревья у вас стоят не как у всех. Будто что-то с ними сделали. Магия, не магия — кто их разберёт. Я человек простой, в чужие дела не лезу. Но посмотреть приехал.

— Посмотрели? — спросила я. Голос прозвучал ровно, хотя внутри что-то сжалось — туго, как пружина.

— Ещё нет, — барон улыбнулся, и улыбка у него была широкая, добродушная, как у человека, который никуда не спешит и ни в чём не сомневается. — Только с крыльца. Но я наслышан. А слухам я верю. — Он отставил чашку — небрежно, чуть слышно звякнув о стол, — и подался вперёд, наваливаясь грудью на край стола, и в этом движении было что-то от хищника, который перестал притворяться. — Скажите, мадам Ольтова, вы ведь недавно здесь. Не знаете ещё всех наших порядков. Усадьба ваша стоит на землях, которые когда-то были приписаны к моему имению. Спорная земля, скажем так. Ну, не спорная — так, недоразумение старое, никто толком не помнит, как вышло. Но недоразумения, знаете ли, имеют свойство всплывать. Особенно когда на земле появляется новая хозяйка, у которой — простите великодушно — ни бумаг, ни родни, ни защитников.

Он говорил мягко, почти вкрадчиво — голос низкий, бархатный, слова круглые, обкатанные, — и от этого становилось только хуже. От грубости можно было бы защищаться, от крика — огрызнуться, от угрозы — испугаться и всё равно устоять. А от этой мягкости не было защиты: она обволакивала, как болото, и в ней тонуло всё — и мой дом, и мой сад, и мои женщины, и моё имя, которого здесь никто не знал. Я не отвела взгляда. Я смотрела на него — на его широкое, сытое лицо, на седую бороду, на перстень с тёмным камнем на безымянном пальце, — и чувствовала, как под столом Гвен чуть шевельнулась, и как Ирма замерла, и как Марта, стоявшая у стены с полотенцем в руках, медленно, беззвучно переложила полотенце из одной руки в другую, как перекладывают что-то тяжёлое перед тем, как взяться за дело.

— Бумаги у меня есть, — сказала я. — Не все, но есть. И дом этот стоит здесь дольше, чем ваше имение, барон. Я видела балки. Я видела камень в основании. Этому дому лет двести, если не больше.

Я говорила ровно, не спеша, и слова находились сами — где-то в глубине, откуда берутся слова, когда их нельзя не сказать. Я вспомнила, как мы с Мартой спускались в подпол, как я трогала холодные, тёсанные камни фундамента, тёмные, тяжёлые, положенные на совесть, на века; как рассматривала балки — дубовые, чёрные от времени, но крепкие, с зарубками и следами чьих-то ножей; как подумала тогда: этот дом старше меня, старше моей жизни, старше всего, что я знала, и он не рухнет только потому, что мы не дали ему упасть.

— Может быть, — барон не спорил. Он кивнул — легко, охотно, как человек, которому всё равно, о чём спорить. — Может быть, и двести. Я не спорю. Я просто говорю: недоразумение. Его можно решить по-хорошему. К обоюдной пользе. Я человек не жадный, но и не святой. — Он откинулся на спинку — стул скрипнул под его тяжестью, — и в этой позе было столько уверенности, что мне стало почти смешно. — Например, так. Вы отдаёте землю мне — или, скажем, продаёте за разумную цену. Дом остаётся ваш. Сад тоже. А я, со своей стороны, обеспечиваю вам защиту. Вы женщина одинокая. Мало ли что. Соседи, разбойники, зима. Одна в поле — не воин.

Он произнёс это так, будто уже всё решил, будто мы давно договорились, будто моё согласие — это простая формальность, которую можно и не спрашивать. Супруга его смотрела в сторону — в окно, на серое небо, на голые ветви, — и на её лице не было ни тени сомнения, ни тени стыда. Лисса смотрела на меня с любопытством — так смотрят дети на фокусника, который вот-вот достанет из шляпы кролика. А Сальма вдруг подняла глаза — впервые за весь вечер — и посмотрела на отца. Долго. Молча. И в этом взгляде было что-то такое, отчего у меня защемило под рёбрами: она знает. Она знает, что он делает, знает, чем это для неё кончится — что её привезли сюда не как гостью, а как часть сделки, как приложение к земле, как товар, — и всё равно будет молчать, потому что её не спрашивают, потому что её никогда не спрашивали.

— Барон, — сказала я, поставив чашку на стол — тихо, но так, чтобы это было слышно, — я вам благодарна за заботу. Право, благодарна. Но дом этот — мой. Сад — мой. Земля под ними — моя. Не потому, что мне так хочется, а потому, что я здесь живу, работаю и не собираюсь уезжать. Если у вас есть бумаги — покажите. Если есть закон — идите в суд. А если есть только недоразумение, то я предлагаю его забыть. Как вы сами сказали, никто толком не помнит, как вышло.

Тишина стала плотной, как мёд, — густой, тяжёлой, липкой, — и в этой тишине было слышно всё: как потрескивают дрова в печи, как капает вода в сених, как где-то за окном кричит одинокая птица. Гвен у стены чуть шевельнулась — я знала этот её жест, она готова была шагнуть, и в этом шаге было бы всё: и топор, и кулаки, и зелёная кожа, — и я мысленно попросила её подождать. Ирма, сидевшая в углу с чашкой в руках — так и не выпитой, — смотрела на меня, не мигая, и в её светлых глазах было столько напряжения, что, казалось, воздух вокруг неё звенит. Марта стояла в дверях — прямая, неподвижная, с полотенцем, перекинутым через руку, — и лицо у неё было такое, что я впервые подумала: если барон скажет ещё одно слово, она запустит в него чугунком. И не промахнётся.

Барон молчал. Он смотрел на меня — долго, внимательно, без улыбки, — и я видела, как в его глазах что-то перестраивается, как меняется оценка: не «женщина», не «случайная», не «никто», а что-то другое, что-то, с чем придётся считаться. Потом он рассмеялся — коротко, сухо, без веселья, — и смех этот был как кашель.

— А вы, я смотрю, с характером, — сказал он. — Это хорошо. Это мне нравится. С характером — значит, не дура. Значит, можно разговаривать. — Он встал — тяжело, уверенно,

— и стул под ним отъехал с скрипом. — Что ж, я не тороплю. Приехал познакомиться — познакомился. Девочки, — он обернулся к дочерям, — собирайтесь. Нам пора.

Баронесса поднялась первой — плавно, без единого лишнего движения, — и на её лице не было ни разочарования, ни досады, только привычная, застывшая вежливость. За ней Лисса, бросившая на меня ещё один любопытный взгляд — быстрый, весёлый, как будто мы играли в игру и она ждала продолжения. Сальма встала последней. Она шла к двери медленно, глядя в пол, и когда поравнялась со мной — так близко, что я почувствовала запах её платья, пыльный, затхлый, чужой, — на мгновение остановилась. Так, что никто, кроме меня, не заметил. И посмотрела мне в глаза — прямо, впервые за весь вечер. И я прочитала в её взгляде то, что она не могла сказать вслух, то, что жгло её изнутри: «Не сдавайтесь. Пожалуйста». Потом она опустила глаза — снова, как всегда, как учили, — и вышла.

Барон уже спускался с крыльца — тяжело, неспешно, как спускаются люди, которым некуда торопиться, — и ступени под ним даже не скрипнули. У кареты он обернулся, посмотрел на сад — на деревья, на тёмную, живую землю под ними, на красные тряпицы, которыми Ирма пометила больные места, — и сказал, ни к кому не обращаясь, в воздух, в серое небо:

— Красиво цветут. Весной, поди, вовсе загляденье будет. Ну, до весны-то доживём. Увидим.

Слово «доживём» он произнёс с той особой, мягкой интонацией, от которой у меня по спине прошёл холод: не угроза, не предупреждение — просто констатация, просто напоминание о том, что зима близко, что дороги заметёт, что помощь не придёт, что до весны можно и не дожить. Он сел в карету, лакей закрыл дверцу, кучер тронул вожжи, и карета покатила по разбитой дороге — сначала медленно, потом быстрее, — и лакированные бока её блеснули в сером свете, пока не скрылись за поворотом. Телега с прислугой поползла следом, гроыхая по колеям.

Мы стояли на крыльце вчетвером — я, Марта, Гвен и Ирма, — и смотрели ей вслед, пока она не исчезла. Потом Марта сказала сухо, не поворачивая головы, глядя в ту же точку, где только что была карета:

— Поганный человек.

— Да, — согласилась я.

— Не отстанет, — сказала Гвен. Она всё ещё стояла, скрестив руки, и клыки её были видны — теперь она их не прятала.

— Не отстанет, — снова согласилась я.

— Значит, будем готовиться, — сказала Ирма тихо, и в её голосе не было ни страха, ни паники — только та спокойная, холодная ясность, которая приходит к людям, привыкшим жить в опасных местах.

И мы пошли в дом. Чай остыл, мёд остался нетронутым — горшочек так и стоял на середине стола, — а яблоки сгрызла Лисса, и на столе остались огрызки, аккуратные, маленькие, как следы чьих-то мелких зубов. Вечером, когда все разошлись — Марта к своим банкам, Гвен к дровам, Ирма к травам, Бертран в конюшню, — я сидела у окна и смотрела на сад, на голые ветви в синих сумерках, на тёмные стволы, которые мы лечили, на землю, которую мы кормили. И впервые за всё время в этом мире я чувствовала не страх, не усталость, не растерянность, а что-то другое. Что-то жёсткое, собранное, злое и очень живое. Как будто во мне, где-то под рёбрами, встал на дыбы тот же зверь, что живёт в Бертрane, — тот, что не отступает, не сдаётся, не уходит в тень.

«Не сдавайтесь».

Я и не собиралась.

Глава 7

Забор я решила чинить, не дожидаясь жаркого лета, потому что барон уехал, но его слова остались — повисли в воздухе, как дым, как запах гари, — и я знала, что «до весны доживём» означало не пожелание, не вежливую формулу, а срок. Если он собирался вернуться, то вернулся бы он в усадьбу, у которой нет ни забора, ни хозяйской воли, — в усадьбу, которую можно взять голыми руками, потому что она сама упала. А такой я ему оставлять свой холм не собиралась. Ни забор, ни волю, ни холм.

Марта, выслушав меня, кивнула — коротко, как кивала всегда, когда решение было верным, — и сказала только:

— Давно пора.

Гвен взяла топор — молча, без вопросов, — и я поняла, что она пойдёт рубить старые яблони сама, если понадобится, и не поморщится. Ирма не сказала ничего, но посмотрела так, что я поняла: она пойдёт, куда позовут, и сделает, что скажут, и не будет спрашивать, зачем. А Бертран, когда я сказала ему про старые яблони — те самые, что росли в восточном углу, кривые, почерневшие, которые мы уже и не надеялись вылечить, — впервые за всё время ответил мне больше чем одним словом. Он поднял голову, посмотрел на меня — долго, внимательно, — и сказал:

— Семь. Восточный угол. Не плодоносят года три. Древесина сухая, крепкая. Хорошие доски будут.

Я выяснила у Марты, где ближайшая деревня, — версты четыре через пустошь, по той же дороге, что вела к тракту, — и она объяснила мне дорогу: где свернуть, где обойти болото, где не сворачивать ни в коем случае, потому что там овраг. Денег у нас было мало: несколько медяков, которые Марта выдала со счётом — пересчитала, взвесила в ладони, загибая пальцы, — да пара серебряных, которых она не выдала вовсе, приберегая, как всегда, на чёрный день. Но забор надо было ставить уже сейчас, а сами мы вчетвером — я, Гвен, Ирма и Марта — не управились бы и за месяц: у нас не было ни сил, ни времени, ни лишних рук. Мужиков надо было нанимать. И потому на следующее утро мы с Бертраном запрягли вороного мерина — горячего, нетерпеливого, который косил глазом и перебирал ногами, — в телегу, скрипучую, с колесом на честном слове, и поехали. Телега тряслась, клин вылетал, мы останавливались, вбивали его обратно, ехали дальше, и пустошь тянулась по обе стороны — серая, мокрая, с редкими кустами и далёкой полосой леса на горизонте.

Деревня называлась Гнилые Ключи — название, от которого мне хотелось поморщиться, но я сдержалась, потому что здесь, наверное, не принято было морщиться на чужие названия. Двадцать с чем-то дворов, покосившиеся плетни, колодец с журавлём, куры в пыли и собаки, которые облаяли нас ещё от околицы — тощие, злые, с облезлой шерстью. Бертран остановил телегу у крайнего дома — того, что стоял ближе всех к дороге, — где, судя по всему, жил староста или кто-то вроде него: дом был чуть больше остальных, с крепким крыльцом и новой крышей. Я вылезла, одёрнула платье — простое, тёмное, то самое, которое я носила на работу в саду, с зашитым подолом и вытертыми локтями, — и пошла разговаривать.

Крестьяне собрались быстро — будто ждали, будто кто-то уже сказал им, что с холма приехали, — мужики выходили из дворов, вытирали руки о штаны, оставляя на них тёмные полосы, оглядывали меня — высокую, худую, в нездешней одежде, с синими глазами и лицом, которое они, наверное, видели впервые, — и в этих взглядах было всё сразу: настороженность, любопытство, недоверие и что-то ещё, похожее на удивление. Женщины выглядывали из-за плетней — кто с ребёнком на руках, кто с ухватом, — и перешёптывались, прикрывая рот ладонью. Мальчишки крутились под ногами — босые, чумазные, с любопытными глазами, — и их гоняли, но они возвращались. Собаки не унимались. Я не стала ничего изображать — не

стала улыбаться шире, чем нужно, не стала говорить мягче, чем говорю, не стала приседать и кланяться. Я сказала прямо, как сказала бы Марте:

— Усадьба на холме. Забор ветхий, надо менять доски. Работы на несколько дней. Дерево наше, инструменты — ваши, если есть. Плата — медяками, сколько договоримся, или будущим урожаем яблок, осенью, когда снимем.

Слово «урожай» произвело больше впечатления, чем медяки. Мужики переглянулись — быстро, понимающе, — и в этом перегляде было столько всего: недоверие, надежда, привычка не верить чужим обещаниям. Кто-то хмыкнул — коротко, в бороду. Кто-то сказал, негромко, но так, чтобы я услышала:

— Сад-то у вас того, брошенный был. Что там снимать?

Я не стала спорить. Спорить с недоверием — всё равно что спорить с погодой.

— Был брошенный. Теперь не брошенный. Приезжайте — сами посмотрите. Если не понравится, уедете, и я никого держать не буду.

Помолчали. Ветер прошёл по улице, поднял пыль, погнал по дороге соломинку. Потом вперёд вышел немолодой уже мужик с широкими плечами и обветренным лицом — тёмным, коричневым, как кора, с сеткой морщин у глаз, — которого звали то ли Гуннар, то ли Гунн, я так и не разобрала до конца: имя прозвучало быстро, проглоченное, как здесь проглатывали многие слова. Он посмотрел на меня — прямо, без подобострастия, как смотрят люди, которые всю жизнь работают руками и не привыкли кланяться, — и сказал:

— Покажи сад. Если сад живой — приду. С двумя сыновьями. За медяки и за яблоки, пополам.

Я кивнула. Ударили по рукам — ладонь у него была жёсткая, как доска, — и в этом ударе было больше договора, чем в иных бумагах.

На следующее утро они приехали — Гунн и двое его сыновей, парней лет восемнадцати и двадцати: старший, широкоплечий, в отца, с топором на плече, и младший, жилистый, быстроглазый, с пилой и мешочком, в котором позвякивали гвозди. Оба молчаливые, оба в латаных рубашках, оба с руками, которые сразу было видно — работают с детства. Следом подтянулись ещё трое: сосед с кривой ногой — он хромал сильно, но шёл твёрдо, опираясь на палку, и в его взгляде была та особая цепкость, какая бывает у людей, привыкших, что их недооценивают; вдовец с двумя дочерьми на выданье — дочери остались у телеги, а он смотрел на меня оценивающе, как барон, только честнее: без вкрадчивости, без мягких слов, просто прикидывал, что я за человек и стоит ли со мной иметь дело; и молодой парень, который, судя по всему, пришёл просто из любопытства — он вертелся, глазел, лез под руку, и его то и дело окрикивали. Инструменты у них были свои, старые, но крепкие: топоры с потёртыми рукоятями, пилы-ножовки с разведёнными зубьями, молотки, долото, верёвки, ворот для подъёма бревна. Бертран встретил их у конюшни — молча, без приветствий, — показал, где стоят старые яблони, и работа началась.

Семь деревьев мы свалили в первый день. На это было тяжело смотреть — я стояла в стороне, у забора, когда топоры вгрызлись в сухую кору, и чувствовала, как что-то во мне сжимается, как что-то протестует, кричит, требует остановиться. Эти деревья стояли здесь дольше, чем я живу. Они видели прежних хозяев, видели запустение, видели нас, когда мы пришли. Но я знала, что это правильно. Они давно не плодоносили — три года, сказал Бертран, а может, и больше, — их корни ещё держались за землю, но жизнь из них ушла, ушла тихо, незаметно, как уходит вода из колодца, и теперь их плоть должна была послужить тем, кто ещё жив. Гунн, заметив моё лицо — я, наверное, побледнела, — сказал коротко, не оборачиваясь:

— Дерево не мучается. Дерево отдаёт.

И я поверила ему. Поваленные стволы мы распилили на доски тут же, на месте, — пила визжала, застревала, её вытаскивали, поправляли, снова пилили, — и опилки пахли сухо и сладко, как пахнет память о лете, и этот запах стоял над двором весь день. К вечеру у конюшни

лежала аккуратная поленница свежих, ещё тёплых от работы досок — тёплых не от солнца, которого не было, а от самой работы, от трения, от той жизни, которая ещё оставалась в дереве. Я подошла, потрогала верхнюю доску — гладкую, чуть шершавую, пахнущую яблоком, — и подумала, что этот забор будет стоять долго. Дольше, чем я. Может быть, дольше, чем барон.

Дальше пошло быстрее. Мужики разобрали старый забор — гнилые доски летели в кучу на растопку, сырые, трухлявые, с чёрными ходами каких-то жучков; столбы, что ещё держались, вытаскивали из земли с натугой, с матерком, с налипшей на корни землёй, и оставляли для новых секций, обстругивая, подтёсывая топором. Мы с Гвен и Ирмой носили доски, держали, подбивали, забивали гвозди там, где не хватало силы, — и мои руки к вечеру второго дня покрылись новыми мозолями поверх старых, а плечи онемели так, что я перестала их чувствовать. Марта варила на всех кашу в большом котле — серую, густую, с луком и каплей масла, — и выносила её во двор, и мужики ели, сидя на земле, на корточках, вытирая ложки о хлеб, и между ними шли разговоры — про урожай, про зиму, про цены, про то, что «хозяйка-то, оказывается, не барыня, а работающая». Я слышала это и не оборачивалась — не потому, что было неприятно, а потому, что боялась спугнуть. Впервые в этом мире меня называли не «новая хозяйка», не «мадам Ольтова», не «женщина с холма», а просто — хозяйка. И это было дороже медяков, дороже серебра, дороже всего, что у меня когда-либо было.

К концу третьего дня забор стоял. Не весь — мы заменили переднюю часть, ту, что выходила на дорогу, самую видную, самую важную, и восточный угол, где доски сгнили насквозь, — но забор стоял: ровный, крепкий, из свежего, сухого дерева, которое пахло яблоней, и этот запах я чувствовала даже ночью, из окна, и он казался мне запахом дома. Мужики получили по несколько медяков каждый — Марта отсчитала, не поморщившись, хотя я видела, как дрогнули её губы, — и по уговору: с каждого дерева, что даст урожай, по корзине яблок осенью. Вдовец с двумя дочерьми ушёл последним — дочери уже сидели в телеге, усталые, притихшие, — и он долго топтался у колеса, переминаясь с ноги на ногу, потирая ладони, будто решаясь на что-то, а потом всё-таки сказал:

— Ежели что по хозяйству — присылайте. Мы недалеко.

Я кивнула — просто, без слов, потому что слов было не нужно. Он уехал, и телега его долго ещё громыкала по дороге, удаляясь, пока не стихла совсем.

Вечером мы вчетвером стояли у нового забора и смотрели, как садится солнце за холмом. Небо на западе порозовело, потом стало медовым, потом — тёмно-красным, как остывающие угли, и в этом свете свежие доски казались золотыми. Гвен провела ладонью по доске — медленно, от края до края, — проверяя, не шатается ли, и я видела, как она чуть кивнула: крепко. Ирма произнесла тихо, почти шёпотом:

— Пахнет яблоней.

Марта сказала — сухо, как всегда, но в этой сухости было что-то тёплое, спрятанное глубоко, как зерно в земле:

— Теперь до весны стоим.

А Бертран, который весь день работал молча — не сказал ни слова, ни одного, только показывал руками, только кивал, — подошёл, встал рядом, и посмотрел на дорогу: ту самую, по которой уехал барон, ту самую, по которой осенью придут мужики за яблоками, ту самую, по которой, я знала, ещё кто-нибудь придёт — за чем-нибудь, с чем-нибудь, незванный.

— Хороший забор, — сообщил он. — Крепкий.

И это было всё, что он сказал за три дня. Но я поняла. Забор — это не просто доски, не просто столбы, не просто гвозди. Это граница. Это «здесь моё». Это первое, что мы построили не из страха, а назло — назло барону, назло зиме, назло всему этому миру, который, кажется, только и ждал, когда мы упадём. Я положила ладонь на тёплую ещё доску — дерево хранило тепло дня, тепло наших рук, — и подумала: пусть приезжает. Пусть смотрит. Теперь у моего холма есть стена.

Глава 8

Весна входила в свои права медленно, но верно. Снег сошёл ещё в конце ортанса — не сразу, не вдруг, а постепенно, съёживаясь, темнея, уходя в землю ручьями, — земля подсохла, стала рыхлой, тёплой, и в саду запахло так, как я уже и не чаяла: тёплой почвой, набухшими почками, живой водой, тем особым запахом пробуждения, от которого кружится голова и щиплет в носу. Деревья стояли преображённые — те, что мы лечили и кормили, те, у которых мы вырезали язвы и прижигали личинки, выпустили плотные, тёмно-зелёные листья, а на самых сильных ветках уже проклюнулись бутоны: мелкие, розовато-белые, тугие, как обещание, — обещавшие к осени тот самый урожай, ради которого мы работали всю зиму и половину весны, ради которого мёрзли, голодали, считали каждый медяк, таскали вёдра, рубили дрова, читали вслух заклинания над корнями. Забор стоял крепко — свежие доски потемнели от дождей, но держались ровно, — крыша была залатана в двух местах, в кладовой оставалось ещё с десяток банок и мешок крупы, и впервые за всё время в этом мире я начала верить, что мы дожили. Дожили до тепла. Дожили до цветения. Дожили до чего-то, что было похоже на будущее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.